

© С.С. Савоскул

НЕМНОГО ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКИХ НОВОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Русские – русскоязычные – "дети империи". Вначале мне бы хотелось обратиться к определению объекта настоящей дискуссии. Основную интригу, как она видится, судя по недавно опубликованной книге, ее инициатору, можно обозначить терминами "русские", с одной стороны, и "русскоязычные", с другой. Н.П. Космарская пишет, что объектом ее изучения "являются не собственно русские, а... именно русскоязычные, то есть совокупность многих этнических групп" и далее подчеркивает, что для нее "это вопрос не только фактологический, но прежде всего концептуальный" (Космарская 2006: 22). Если же она иногда и употребляет (из стилистических, по ее словам, соображений) слово "русские", то непременно ставит его в кавычки, подчеркивая этим, что она имеет в виду русскоязычных в целом. В то же время русскоязычное население титульных национальностей автор принципиально не включает в объект своего исследования, ограничивая его лишь нетитульными и вдобавок "пришлыми", по ее выражению, группами, которые, как она полагает, находятся по отношению к титульному населению территорий, куда они попали в ходе колонизации различных периодов и типов, "по разную сторону баррикад" (Там же: 23).

С последним тезисом трудно согласиться, поскольку взаимоотношения титульного и нетитульного населения, даже если из последнего исключить автохтонные для данного региона группы, гораздо сложнее, чем нахождение по разные стороны баррикад, что, кстати говоря, с известным пафосом доказывает в своем исследовании и сама Космарская. Однако это выражение довольно точно определяет различия в отношении к новым независимым государствам основной массы их титульного населения, с одной стороны, и значительной доли представителей остальных этнических групп (особенно русских), населяющих эти государства, с другой.

Материалы исследований дают достаточно оснований утверждать, что большинство титульного населения нового российского зарубежья в гораздо большей мере, чем местное русское и другое близкое ему население, считает государства, возникшие на основе прежних союзных республик, "своими", полагая, что их обязанностью является защита в первую очередь интересов именно титульного народа, а затем уж и остальных граждан (см., напр.: Савоскул 1999: 95–101; Савин 2006: 23).

Таким образом, термин "русскоязычные" (на мой взгляд, его нужно бы уточнить, добавив слова – "нового зарубежья", поскольку русскоязычные составляют практически чуть ли не все население России, но живут также и в других странах ее старого – в отличие от нового – зарубежья¹⁵), о котором автор говорит, что он "как нельзя более точно" характеризует объект ее исследования, все-таки далеко не полностью совпадает с последним. И уточняя для себя и читателя, что же она имеет в виду, Космарская еще раз вводит свой объект уже в иную систему координат, в круг социально-исторических явлений, обозначаемых не определяемым ею (видимо, по ее мнению, само собой разумеющимся) термином "империя" и, стало быть, тесно с ним связанными понятиями – "метрополия" и "колония". С этой точки зрения русские и другие нетитульные русскоязычные являются, по мысли автора, "детьми империи" и в та-

ком качестве противостоят титульному населению государств нового российского зарубежья.

Правда, как справедливо пишет Космарская, полноценными "детьми империи" являлись и титульные элиты союзных республик, а я бы добавил, что и вообще все население бывшего СССР, но и их она не включает в объект своего изучения, обозначая его уже термином "постимперские меньшинства" (Космарская 2006: 562). Термин этот, на мой взгляд, не очень удачен, поскольку, если уж и считать СССР "империей"¹⁶, то меньшинствами в нем были по существу все народы, кроме русских, и такими они остались и в постсоветском пространстве. Неудачным представляется мне и метафорическое определение автором своего объекта как "детей империи". Даже в "имперской" системе координат уместнее было бы назвать их "детьми метрополии", поскольку "империя" невозможна без колоний, куда метрополия и посылает своих "детей", вербуя их как из представителей "коренного" народа метрополии, так и из народов колониальных окраин.

Однако, все это, на мой взгляд, уже схоластика. Для практических целей исследования было бы достаточно оговорки, что объектом является русскоязычное неавтохтонное население Киргизии, подавляющее большинство которого составляют русские с обрусевшими украинцами и белорусами. К этому восточнославянскому большинству Н.П. Космарская добавляет еще немцев, татар, евреев, армян, корейцев и, по ее словам, многих других (Там же: 22). Но вот тут-то мы и переходим от концептуального, но, как видим, довольно сложного и запутанного определения объекта изучения к практике исследования этих самых русскоязычных. На практике же, насколько мне удалось понять, преодолев почти 600-страничный труд, мы все же имеем дело с усредненными сведениями, характеризующими в основном тех же русских, независимо от того, используются ли показатели массовых (но все же проведенных по весьма небольшим выборкам) опросов или же итоги свободных интервью.

Помнится, лишь в одном-двух местах в качестве интервьюируемых упомянуты украинцы или их потомки. Это было вполне предсказуемо, ведь лишь на больших (точнее, очень больших) выборках, как резонно замечает автор, можно "увидеть интересные нюансы во взглядах и поведении нерусских русскоязычных" (Там же: 29). Однако в рассматриваемой работе этих "интересных нюансов" нет, что связано не только с размером выборки, использованной автором (к большому сожалению, опрос титульного – киргизского населения не был предусмотрен, что невольно обеднило результаты исследования), но и с тем, что и в цитатах из приводимых свободных интервью не звучат живые голоса нерусских русскоязычных, к примеру, немцев и евреев, в большинстве своем уже покинувших и Киргизию, и центральноазиатский регион бывшего СССР. Таким образом, на уровне исследовательской практики Н.П. Космарской так и не был осуществлен концептуальный, по ее словам, подход к объекту исследования, в качестве которого она провозгласила не русских, а именно русскоязычных. Полученные ею результаты характеризуют, на мой взгляд, все же преимущественно русских, а не неких абстрактных "русскоязычных в целом". И это вполне понятно, так как именно положение и взгляды русского большинства будут определять и характеристики "русскоязычных в целом" в любом усредненном их изучении.

Относительно же своего подхода могу сказать, что, поставив в начале 1990-х годов целью задуманного исследования положение именно русского населения нового зарубежья, я (а точнее, существовавшая до 1996 г. группа, которую мне довелось возглавлять, включавшая А.И. Гинзбург, Л.В. Остапенко и И.А. Субботину) исходил отнюдь не из стихийного или осознанного примордиализма или, тем паче, русского национализма, как кажется, полагает Космарская. Главной причиной этого ограничения были трудности практического осуществления массового полевого исследования в ряде

стран нового зарубежья, которое проводилось в Киргизии, Литве, Молдавии, Украине и Эстонии, с условием изучения не только русских, но и другого русскоязычного населения. Было ясно, что осуществить его можно либо путем многократного расширения объемов выборки с тем расчетом, чтобы помимо основных этнических групп населения (это, как правило, представители титульного народа и русские) в ней (в размерах достаточных для аналитических целей) были представлены и другие национальности; либо с помощью выборки, специально направленной на опрос других – помимо русских и титульного населения – этнических групп. Осуществить же это иным способом – с помощью так называемых качественных исследований, т.е. преимущественно путем направленных, хотя и не формализованных интервью, ревностным сторонником которых является мой оппонент – предприятие не менее громоздкое и трудоемкое, что показывает и неудача – в смысле "интересных нюансов" – самой Н.П. Космарской¹⁷.

Помимо названной были, конечно, и другие причины моего преимущественного внимания к русским. В их числе прежде всего особая роль именно русских – народа доминировавшего в дореволюционной России и в СССР, в том числе и в процессе модернизации национальных окраин, уже в силу своего демографического веса и общего уровня социально-экономического и культурного развития. Преимущественное участие русских в модернизации окраин отчетливо осознается и в массовой исторической памяти русского, да и титульного населения нового зарубежья, что показывают результаты ряда исследований (РНЗ-1: 54; *Савоскул* 2001: 48; *Космарская* 2006: 428–443). В силу такой особой роли русских проблема их нового статуса в бывших союзных республиках за пределами России имеет не локальный, а всеобъемлющий, системный для всего постсоветского пространства характер, при том, что в каждой из этих стран проявление этих проблем имеет свои конкретные особенности и определяется не только общими, но и местными факторами¹⁸.

Вместе с тем, изучение русских в новом российском зарубежье было лишь частью задуманной мною в самом начале 1990-х годов программы целостного исследования русского народа в пределах бывшего СССР. В известной мере оно мыслилось как продолжение на новом этапе недавно законченной коллективом этносоциологов работы о русских, поскольку к тому времени стало возможным открыто обсуждать многие острые вопросы, до этого практически закрытые для исследования¹⁹. Нацеливаясь в начале 1990-х годов преимущественно на изучение русских в новом зарубежье, я, тем не менее, четко осознавал, что с ними – как в России, так и за ее пределами – в культурно-языковом, социальном, бытовом, психологическом и прочих отношениях – ассоциирована довольно многочисленная группа представителей других национальностей, которых в новом зарубежье объединяет с русскими и резко изменившаяся этнополитическая ситуация, возникшая после распада Союза ССР. Я отмечал тогда, что в политике новых суверенных государств отчетливо проявляется и ориентация на раскол угрожающе однородной массы русскоязычных по этническому признаку (*Савоскул* 2001: 17–18; РНЗ-3), и это встретило поддержку и у некоторой части нерусских русскоязычных, что, кстати, отмечает и Н.П. Космарская. Исходя из названных обстоятельств, исследование и было осуществлено как исследование именно русских в странах нового российского зарубежья.

Миграционисты-интеграционисты (немного об историографии). С мнением инициатора нынешней дискуссии о том, что отечественная наука ни с количественной, ни с качественной стороны не может похвалиться хорошей проработкой проблем русского и другого нетитульного русскоязычного населения нового российского зарубежья вполне можно согласиться. Такая огромная тема, к тому же непрерывно развивающаяся, вообще вряд ли может быть сколько-нибудь полно и всесторонне изучена. К тому же и сама Н.П. Космарская прекрасно осведомлена о многих объективных труд-

ностях, стоящих на этом пути перед российскими учеными. Однако не могу согласиться с обвинением отечественных ученых, которое упорно проходит через всю книгу Космарской, в их, якобы, преимущественном внимании к миграциям и миграционным настроениям русского населения нового зарубежья в ущерб изучению тех его групп и тех сторон поведения и сознания, которые ориентированы на адаптацию к новым условиям и интеграцию в сообщества стран проживания. В подтверждение этого тезиса автор ссылается – если говорить о собственно научных текстах – в основном на работы Г.С. Витковской – специалиста именно по миграционным проблемам – и статью А. Грозина, практически неизвестного в качестве автора исследований о русском населении нового российского зарубежья. Остальные же ее упоминания "миграционистского уклона" относятся преимущественно к журналистам, склонность которых к острым темам и способность найти их и там, где их нет, общеизвестна. Наиболее солидные отечественные работы по интересующей нас сейчас тематике, подготовленные, к слову сказать, в основном, в Институте этнологии и антропологии РАН, отнюдь не страдали "миграционистским уклоном", что отмечает, не снимая при этом своего упрека российским ученым, и сама Н.П. Космарская. Насколько я понимаю, такая позиция вызвана вполне простительным стремлением выглядеть на фоне "отсталых" отечественных исследователей первооткрывателем "интеграционистского" направления. Ее заслуга в энергичном продвижении интеграционистской тематики, в том числе в постановке и изучении ряда новых проблем, например, возвратной миграции русскоязычного населения из России на примере Киргизии, несомненна. Но все же проблема интеграции изучалась и другими.

Уже массовый опрос русского и киргизского населения 1992 г. в ряде городов и сел Киргизии был основан на заложенном в нашей комплексной программе предположении, что значительная часть русских, населяющих страны нового зарубежья, там останется и будет, так или иначе, адаптироваться к новой этнополитической и социально-экономической ситуации²⁰. Исходя из такого понимания, все последующие работы нашей группы, в том числе и сборник, целиком посвященный миграциям русского населения нового зарубежья в Россию (РНЗ-2), на мой взгляд, отнюдь не страдали "миграционистским уклоном". В рамках упомянутой выше программы нами изучались изменения в демографическом и социально-экономическом статусе русских, их адаптация в социально-экономической сфере, новая этноязыковая политика в странах их проживания и этноязыковая адаптация русского населения, радикальные изменения в этнополитической ситуации, в сфере межэтнических, прежде всего русско-титульных отношений, эволюция гражданской и этнической идентичности, в том числе дрейф этнической идентичности, проявившийся, например, в Украине в смене у части русского населения русской идентичности на украинскую, миграционные настроения и поведение местных русских²¹, стратегии их будущего поведения и многое другое. При этом все эти проблемы рассматривались в форме диалога – в оценках как самих русских, так и представителей титульного населения²².

Не отличались "миграционистским уклоном" и подготовленные в Институте этнологии и антропологии книги других авторов (*Лебедева* 1997, *Брусина* 2001), с чем, впрочем, согласна и Н.П. Космарская, а также ряд сборников статей под редакцией В.А. Тишкова и др., в которых проблемы русских в новом зарубежье занимали видное место (см., напр.: РЗ 1994; МНД 1996; НСД 1996; ВМ 1997). Не могу не отметить и весьма информативные доклады (И.А. Гришаева, Л.Д. Гудкова, А.Т. Семченко, А.А. Сусоколова) о русских в Эстонии, Казахстане и Украине, подготовленные в 1995–1997 гг. Центром исследования русских меньшинств в странах ближнего зарубежья, руководимого Б. Грушиным. На мой взгляд, этими исследованиями было обозначено и с той или иной глубиной изучено большинство проблем, вставших перед рус-

скими в странах нового российского зарубежья на первом, наиболее драматичном для них периоде их жизни, наступившем после распада СССР.

В то же время, естественно, что в изучении такой динамично развивающейся проблемы, как поднятая в этой дискуссии, нельзя сбрасывать со счетов и фактор времени. Многие тенденции, лишь обозначившиеся в начале – середине 1990-х годов, на которые в основном и приходится большая часть полевого материала, используемого в исследованиях нашей группы, в конце XX столетия приобрели более определенный характер и уже поэтому могли быть более глубоко осмыслены. На мой взгляд, именно фактор времени позволил Н.П. Космарской увидеть и исследовать ряд новых явлений, проявившийся, в частности, в эволюции гражданской и этнической идентичности изучаемых ею групп.

О новых тенденциях идентификации русских в новом зарубежье. Изучение изменений в идентичности русских и другого нетитульного русскоязычного населения стран нового российского зарубежья позволяет судить и о том, как, в каких формах, какими темпами происходит его адаптация к новой этнополитической, культурно-языковой, социально-экономической и межэтнической ситуации, в какой мере осуществляется его адаптация и интеграция в сообщества этих государств. При этом о полноценной интеграции можно говорить лишь при условиях равного доступа нетитульных групп к ресурсам нового государства и их признания, без отказа от их собственной идентичности, полноправными участниками сообщества этого государства. В большинстве же стран нового российского зарубежья эти условия существуют, на мой взгляд, далеко не в полной мере.

Определяя характер идентичности русских, да и в целом всего населения бывшего СССР в годы, последовавшие за его распадом, многие исследователи, в том числе и я, говорили об ее кризисе. Последний во многом определялся болезненным переходом от прежней, пусть в какой-то мере и официальной, но для большинства позитивной советской идентичности к далеко не абсолютной лояльности новым постсоветским государствам (в том числе и России) многих представителей их нетитульных национальностей, да и части титульного населения. Не просто и далеко не всегда гармонично складывались и отношения между их новой гражданской (политической) и этнической (культурно-языковой), локальной и прочими идентичностями. К тому же у русских и большинства другого русскоязычного населения нового зарубежья процессы идентификации дополнительно осложнены и тем, что в новых независимых государствах иногда юридически (в Латвии и Эстонии), а чаще в иной, в том числе бытовой форме, русским согражданам нередко давали понять, что их положение изменилось, и что они, в сущности, нежеланные гости на чужой земле, что их Родина – Россия.

В то же время взаимоотношения с Россией – бывшим ядром союзного государства, куда в первой половине 1990-х годов уехала значительная часть русского населения нового зарубежья, складывались также не безоблачно. Свою негативную роль здесь, на мой взгляд, сыграла весьма непоследовательная, даже на уровне деклараций, российская политика по отношению к русским и другому близкому им населению нового зарубежья, в той или иной мере ориентированного на Россию в политическом (как преемницу – в глазах многих бывших советских граждан – СССР), культурно-информационном, духовном и прочих отношениях. К тому же эта политика, со временем обозначенная как связь с зарубежными "соотечественниками", была весьма слабо подкреплена материально, что тоже не способствовало ее успеху. Одним из важных факторов, также сдерживавшим политическую активность России в этом направлении, были вполне справедливые и предсказуемые опасения российского руководства, прежде всего исполнительной власти, быть обвиненными в гегемонистских, реваншистских намерениях по отношению к другим бывшим союзным республикам. Поли-

тическая слабость и непоследовательность России в этом направлении усугубилась негативным опытом общения переселенцев из нового зарубежья с местным российским начальством, жизни многих из них в непривычных для большинства мигрантов – как правило, городских, а зачастую и столичных жителей – условиях российской, часто сельской, провинции, нередко недоброжелательных отношениях с местным населением. Этот негативный опыт, довольно быстро ставший известным и тем, кто остался в странах выхода, скоро вылился в широко распространившуюся среди них формулу – "мы России не нужны". Понятно, что все это вызвало не только заметный спад миграционного потока в Россию, но и снизило уровень ожиданий помощи и защиты с ее стороны, в значительной мере переориентировало такие ожидания и лояльность местных русских на страны своего проживания, что хорошо показано Н.П. Космарской на примере Киргизии.

Определенное ослабление пророссийских ориентаций могло быть связано и с прежним состоянием гражданской идентичности русских. Я имею в виду то обстоятельство, что в СССР как фактически, так и в сознании его граждан существовали две гражданские (политические) идентичности – общесоюзная и республиканская. В головах конкретных людей они иногда совмещались, но чаще "жили" отдельно. При этом в сознании русских общесоюзная идентичность преобладала, в то время как у ряда титульных народов – например, грузин и эстонцев (сужу об этом по исследованиям этносоциологов 1980-х годов, а именно по ответам на вопрос, что респонденты считали своей Родиной – СССР в целом или республику проживания) преобладала именно республиканская идентичность. В то же время для русских, живших в республиках вне РСФСР, республиканская идентичность все же была характерна в большей мере, чем для российских русских, подавляющее большинство которых было ориентировано на СССР в целом (подробнее см.: Савоскул 1999: 92–95). На мой взгляд, названное обстоятельство не могло не проявиться уже в независимых странах нового зарубежья, тем более, что этому способствовали и новые этнополитические условия.

В связи со слабостью российской республиканской идентичности в советском прошлом мне сейчас становится ясным, что еще недавно как бы само собой разумевшаяся особая роль Российской Федерации для русского и иного близкого ему населения в странах нового зарубежья была, скорее всего, фактом нашего сознания, а не действительности. Можно думать, что Российская Федерация по существу никогда и не была ни для большей части русских, ни для представителей других советских народов той "настоящей Родиной-Россией", которая на какое-то время возникла в головах некоторых русских, обиженных антирусскими настроениями, столь очевидно проявившимися накануне и после распада СССР. Та "наша Родина – Россия", в сущности, сливалась с "нашим" Союзом, наследником дореволюционной России, и фактически была его синонимом. Та "наша Родина – Россия" была немыслима без "наших" Киева, Севастополя, Одессы, без "нашего" Кавказа, "нашей" Средней Азии и "нашей" Прибалтики. Это очень ясно осознавалось и в СССР, и, быть может, еще яснее за его рубежами, где слово "Россия" в качестве синонима "Союза" употреблялось гораздо чаще, чем у нас. Именно поэтому реальная "суверенная Российская Федерация", ополовиненная, по сравнению с "той Россией", вернувшаяся к еще допетровским рубежам, конечно, не могла, да и не хотела претендовать на роль подлинной Родины, с которой в сознании многих (а тем более, русских в новом российском зарубежье) все еще ассоциировался бывший СССР. И если с нашей российской, московской точки зрения мы какое-то время могли, а точнее хотели думать, что наша страна все еще способна помочь, а в случае необходимости и защитить русское и другое рассчитывавшее на ее помощь население в бывших союзных республиках, то жизнь довольно скоро освободила нас от этих иллюзий. А русские и другое близкое им население в новом зарубежье, по край-

ней мере, та их часть, которая как-то рассчитывала на Россию, отрезвели, видимо, раньше нас и поняли, что прежней "России-Союза" уже нет и никогда не будет.

Вместе с тем не только наши, но и более поздние исследования показывают, что ориентация на Россию, в том числе на ее возможную помощь, в значительной мере еще сохраняется, так же как сохраняется и желание иметь двойное гражданство (*Савин* 2006: 27), что, на мой взгляд, неизбежно для постсоветского общества, во многом все же еще сильно настроенного на значимость этнического фактора, в том числе и в сфере государственного строительства. Кроме того, еще недавно столь широко распространенная среди русских союзная идентичность не исчезла окончательно (Там же), а у русских за пределами России как бы претворилась в ожидания интеграции постсоветского пространства – будь то в форме СНГ или еще более тесной связи между бывшими союзными республиками. Видимо, это отвечало и отвечает их интересам в большей мере, чем жизнь в тесных для русских, замкнутых "квартирах" суверенных национальных государств. Я думаю, что именно с этим была связана большая популярность среди русских в странах нового зарубежья – судя по нашим исследованиям первой половины 1990-х годов – Н. Назарбаева, в те годы постоянно выступавшего с инициативами более широкой и глубокой интеграции бывших союзных республик. Русские в обследованных нами республиках, как правило, доверяли ему чаще, чем Б. Ельцину и президентам стран своего проживания (РНЗ-1: 31–32; *Савоскул* 2001: 59).

В тесной связи с названными переменами в гражданско-политическом самосознании русских в странах нового российского зарубежья эволюционировало и их этническое, русское самосознание. В свете сказанного выше вполне ожидаемым является то, что в русском этническом самосознании происходит, как показывает Н.П. Космарская на примере русских Киргизии, некоторое ослабление общерусской объединяющей идентичности и рост локальной (на мой взгляд, точнее сказать – региональной) разделяющей (по ее терминологии) идентичности²³. Впрочем, наличие местной – региональной и локальной – идентичности в общеэтническом самосознании любого народа, особенно такого многочисленного и широко расселенного, как русские, явление весьма распространенное и общеизвестное (см., напр.: *Савоскул* 2005). Вполне понятно также, что в случае совпадения границ региональной группы с республиканскими, как было в советский период, а тем более с границами уже суверенных постсоветских государств региональная идентичность имеет шансы стать еще более выраженной, а общеэтническая несколько ослабеть. Такой сценарий можно предположить и для любой из региональных групп русских в самой России, скажем, в случае гипотетической суверенизации одного из ее субъектов. Несомненно, что изучение процесса усиления региональной идентичности русских в новом зарубежье даст возможность судить об их дальнейшем этническом развитии, в том числе возможном формировании каких-то отличных от русских России групп русского населения.

В связи с обсуждаемой здесь проблемой идентичности не могу не ответить Н.П. Космарской на ее критику в мой адрес. В соответствующем разделе своей книги она пишет, что разделяемое мною и традиционное для российской науки понимание этничности русских как ориентации "лишь на материнский этнос" слабо аргументировано. Для подтверждения этого она высказывает свое весьма критическое мнение о двух вопросах, с помощью которых я пытаюсь понять в какой мере русские, совсем еще недавно жившие в единой стране, осознают свое "русское" единство, независимо от того, что теперь они разделены новыми государственными границами (первый вопрос – дословно он звучал так: "Роднит ли Вас что-то с людьми Вашей национальности?") и в какой мере они осознают свое отличие от русских в России – страны, в которой проживает большая часть русского народа (второй вопрос). По поводу первого вопроса она замечает, что он чисто риторический, умалчивая, что он по существу яв-

лялся вводным, поскольку за ним следовал вопрос о том, в чем именно опрашиваемые видят свое единство (в вопросе – "родство") со своим народом. А, как известно, для интерпретации результатов опроса крайне важен весь контекст, а не отдельно вырванные из него вопросы. Кстати говоря, характерно, что в ответах на последний вопрос русские Киргизии (где статус русского языка пострадал, что отмечает и Н.П. Космарская, в наименьшей мере) заметно реже, по сравнению с русскими Молдавии и стран Балтии, называли русский язык в качестве фактора, связывающего их с русским народом (РНЗ-1: 92–93). Относительно же второго вопроса она пишет – "как будто существует некая норма, эталон – на кого русские в республиках должны быть похожи, и чем сильнее, тем лучше" (*Космарская* 2006: 385–386). Мне не понятно, почему у автора возникла тут мысль о норме, эталоне, на которые местным русским нужно равняться. Ведь очевидно, что речь идет об общерусском самосознании – об одном из его индикаторов (а их в нашем исследовании было несколько), позволяющем судить об изменениях в этнической идентичности русских в разных странах нового зарубежья. И нужно сказать, что этот индикатор показал, что русские респонденты Киргизии в большей мере, чем русские, опрошенные в других странах (в Правобережной Молдавии лишь ненамного реже, чем в Киргизии, а в Литве и Эстонии почти вдвое реже – РНЗ-1: 96) – отметили свою близость к русскому населению России. К тому же этот показатель в целом можно рассматривать и как один из индикаторов процесса формирования диаспорального сознания русских в странах нового российского зарубежья, и он, как мне кажется, отражает этот процесс достаточно точно.

Мне не вполне понятен и употребляемый здесь Космарской термин "материнский этнос", даже не сам термин, а его применение по отношению к русским. Судя по контексту, речь идет о русских, проживающих в России. На мой же взгляд, все русское население бывшего СССР являлось и до сих пор в значительной мере еще остается единым народом-этнотомом, сохраняющим один язык, единые для всех русских традиционные ценности русской профессиональной и народной культуры и единое русское самосознание. Русские же, проживающие в других постсоветских странах за пределами России, да и в странах ее старого зарубежья до тех пор, пока они считают себя русскими, являются, на мой взгляд, региональными группами единого русского народа, что и подтвердили итоги моего исследования относительно русских в новом зарубежье.

Общерусская идентичность не исключает наличия у региональных групп русских местной – региональной и локальной идентичности. При этом, как я предполагал еще в начале 1990-х годов, одним из факторов формирования региональной идентичности у русских нового зарубежья является более высокая (по сравнению с Россией) степень полиэтничности населения этих стран, способствующая складыванию у тамошних русских особых черт их ментальности (РНЗ-3: 25).

Одно из проявлений трансформации этнической идентичности русских в бывших союзных республиках за пределами России – идентификационный дрейф – переход части русских на идентичность титульного населения, может быть, на первых порах скорее декларируемый в силу резко изменившихся этнополитических обстоятельств, чем реальный. Как уже отмечалось, этот процесс и некоторые способствовавшие ему факторы – новая этнополитическая ситуация, близость культурной дистанции между русскими и украинцами, интенсивность брачных связей между ними и пр. – уже были в какой-то мере изучены на примере населения Украины (подробнее см.: *Савоскул* 2003, 2004). Думаю, что подобный процесс, хотя, скорее всего, и не столь интенсивный, как в Украине²⁴, может происходить и в Белоруссии, возможно, в какой-то мере в Прибалтике, отчасти в Грузии и Армении, хотя в двух этих странах, особенно в последней, демографический потенциал русского населения – и в советское время не

очень большой – к нашим дням в значительной мере исчерпан. Что касается постсоветских государств Центральной Азии, то здесь, видимо, этот процесс вряд ли станет сколько-либо заметным.

Об объективности и соблазнах "симпатизирующей этнографии". Я не верю в возможность абсолютно беспристрастной точки зрения на объект своего изучения ученых, исследующих современное общество, тем более, если речь идет об острых, животрепещущих проблемах, к каким, несомненно, относится и та, которая вызвала наш разговор. На первый взгляд может показаться, что в отличие от отечественных исследователей, так или иначе погруженных в изучаемое ими общество и его проблемы и в силу этого, казалось бы, более зависимых от разделяемых им идей, предрассудков и мифов, западные ученые, дистанцированные от всего этого, могут быть более объективными в своих исследованиях. Однако полагаю (и это основано и на некотором опыте общения с зарубежными коллегами), что это не совсем так. Прежде всего эта же дистанцированность, отсутствие опыта жизни в изучаемом ими обществе, слабое знание его современных и прошлых реалий, нередко и плохое знание русского языка затрудняют понимание, особенно когда речь идет об исследовании общественного сознания. Все это относится и к рассматриваемой здесь проблеме. К тому же в силу своей политической остроты, для Запада связанной, прежде всего, с опасениями реваншистских поползновений России в отношении своих соседей по бывшему СССР, проблема русских в новом российском зарубежье никак не могла стать для западных ученых предметом чисто научных, объективных исследований. Недаром же, и это отмечает в своей книге Н.П. Космарская, их внимание, особенно на первых порах, когда тенденции российской политики по отношению к "соотечественникам" еще не определились, было нацелено преимущественно на изучение политических шагов России в этом направлении.

Вполне понятно, что и в других исследованиях, где заметно большее внимание было уделено собственно русскому или в целом русскоязычному населению нового зарубежья, в той или иной мере, возможно и независимо от намерений автора, проявились широко распространенные на Западе антироссийские настроения, унаследованные еще от эпохи холодной войны. В нашем случае это, в частности, могло сказаться в преувеличении "особости" русских нового зарубежья по сравнению с русским населением нашей страны, их все возрастающего удаления от России и т. д. При этом я не хочу сказать, что подобных тенденций в жизни изучаемых нами сообществ не существует – они, несомненно, есть. Но специфика гуманитарного знания, связанного с исследованием сложных систем, развивающихся под воздействием бесчисленного множества факторов, такова, что при желании исследователь может найти множество фактов (и умолчать или не заметить множество других) для обоснования преимуществ своих теорий и гипотез. Последнее, на мой взгляд, в известной мере характерно и для книги Космарской, которая, как мне кажется, таким путем хочет еще более усилить свой основной вывод об успешности адаптации русских в постсоветской Киргизии. К примеру, комментируя ответы респондентов (по опросу 1993 г. в Бишкеке) об их личном этноконфликтном опыте, который имели немногим более половины опрошенных, автор, тем не менее, "предполагает", что конфликты на национальной почве не были для русскоязычного сообщества "явлением массовым, фактом их повседневной жизни". Основанием для такого предположения автору послужило то обстоятельство, что почти половина респондентов (46%) выбрала вариант ответа "в единичных случаях" (т. е., по крайней мере, не один раз – С.С.), а вариант "довольно часто" – отметили 10% (Космарская 2006: 113). На мой же взгляд, приведенные данные неоспоримо свидетельствуют о массовом характере этноконфликтных ситуаций в тот период. И еще один пример некорректного использования данных массовых опро-

сов. Положительный опыт интеграции русских Киргизии Космарская пытается подчеркнуть и на примере их более успешной (по ее мнению), чем у населения России, социальной мобильности в постсоветские годы. Для доказательства этого используются два массива данных – с одной стороны, результаты опроса русскоязычных жителей Бишкека 1996 г., с другой – жителей г. Рыбинска 1997 г. (Там же: 331–337).

Между тем, и без всякого исследования ясно, что условия для социально-профессионального продвижения жителей этих городов – столицы Киргизии и районного центра (хотя и довольно многолюдного) Ярославской области несопоставимы, и уже в силу этого судить по названным массивам о различиях в «движении "социальных лифтов"» в Киргизии и России нельзя. Думаю, что помимо этого названные массивы, скорее всего, мало сопоставимы и из-за возрастных и образовательных различий – наверняка образовательный уровень русских жителей Бишкека выше, чем у рыбинского населения; думаю, что и возрастной состав первых отличается большим, чем в Рыбинске, преобладанием относительно более молодых возрастных групп. А эти факторы – образование и возраст – напрямую связаны с социальной мобильностью.

По поводу "симпатизирующей этнографии" замечу еще, что у исследователя, достаточно долго работающего в одном и том же "поле", изучающего свой объект путем личного контакта в ходе интервьюирования, включенного наблюдения и прочих этнографических методов, невольно возникает симпатия, сочувствие ко многим представителям изучаемого сообщества, а отсюда и невольное желание помочь им, встать на их сторону – то есть именно те самые соблазны "симпатизирующей этнографии", от которых отрещивалась (Там же: 30–31), но которых, на мой взгляд, все же не избежала Н.П. Космарская, и нужно сказать, что я вполне ее понимаю. Однако, как исследователь, пытающийся быть в какой-то мере объективным, я не могу не сказать, что подобная симпатия все же проявляется в невольной односторонности самого исследования. Из текста книги нашего автора, его тональности и нередко почти фольклорных сценок со всей очевидностью ясно, что особое ее сочувствие и понимание вызывают представители той части русскоязычного населения Киргизии, которые настроены на интеграцию, по ее характеристике – активные, ответственные люди, и в несколько меньшей мере – киргизы. С другой стороны, на фоне повествования о страданиях тех, кто выбрал для себя миграцию в Россию (кстати, замечу, что голоса тех из них, кто успешно там адаптировался и живет до сих пор, абсолютно отсутствуют) автор, отчасти своими словами, а в основном устами своих респондентов, рисует российскую сторону практически одними черными красками. Негативной однотонностью окрашено здесь все – от "ужасающих" природных условий России до мифологической лени, пьянства, никчемности, нечистоплотности и прочих грехов российских русских "аборигенов".

Некоторые из читателей могут возразить, что ведь эти оценки звучат из уст представительницы группы, обследуемой Н.П. Космарской, что они вполне укладываются в ту общеизвестную социально-психологическую закономерность, согласно которой автостереотипы (оценки "своей" группы) в случае положительной идентичности всегда выше гетеростереотипов (оценок группы, с которой контактируют представители изучаемого сообщества). Это действительно так, однако, во-первых, автор ни разу не сказала о существовании этой закономерности и крайне редко объясняла тот вполне понятный факт, что подобные негативные впечатления весьма типичны для благополучного городского (а тем более, столичного) жителя, попавшего в депрессивную сельскую глубинку. Лишь однажды она обмолвилась о парадоксах в положении российской метрополии и национальных окраин в советские годы. Более того, автор то и дело присоединяется к негативным оценкам и России, и ее русских жителей, данным возвратными мигрантами, с которыми она беседовала.

Ответ на критику. Одним из самых общих замечаний Н.П. Космарской в мой адрес является недостаточный учет того факта, что в целом мои данные отражают ситуацию до середины 1990-х годов (Там же 2006: 80). Но я не скрываю, что полевые исследования, на итогах которых построена моя книга, проводились в основном в период с 1992 по 1996 г. – это видно как из многочисленных таблиц, так и из текста. При этом я, конечно, старался по возможности обновить и дополнить свой материал экспертными опросами 1999 г., использованием результатов других исследований, итогов последних переписей в странах нового зарубежья и пр. Действительно, со времени проведения первого массового опроса, результаты которого легли в основу моей книги, до ее выхода в свет прошло девять лет, но ведь и в книге Космарской подобные рубежи (1996 г. и 2006 г.) отделяет не меньший срок. Так обычно и бывает при выполнении объемных многоплановых исследований, проводимых малыми силами.

В другом месте мой оппонент упрекает меня в несоответствии между приводимыми цифрами и сделанными на их основе выводами (Там же: 100–101). Речь идет о том, что я якобы преувеличиваю значимость и устойчивость во времени этнических мотивов потенциальной миграции русского населения Киргизии и Казахстана. При этом, сравнивая итоги проведенного нами в Киргизии в 1992 г. опроса с результатами опроса в Казахстане 1994 г., Н.П. Космарская полагает, что они свидетельствуют о заметном ослаблении значимости этнических мотивов. Но сделать такой вывод я не мог, поскольку результаты опроса 1994 г. сравнивать не с чем – не с опросом же, хотя и проведенным за два года до этого, но в другой стране! Далее Космарская не соглашается с моим выводом, что наряду с экономическими трудностями этнически окрашенные мотивы являлись значимыми факторами потенциальной миграции русских в Казахстане. Неясно – почему же такой вывод сделать нельзя – я ведь отмечал, что экономические факторы, судя по опросу потенциальных мигрантов, заняли первое место, но и величина этнических мотивов была не намного меньшей.

Кроме того, мой оппонент полагает, что результаты экспертного опроса 1999 г. в Казахстане и Киргизии не дают оснований для моего утверждения о том, что с точки зрения экспертов мотивы миграции русских остались примерно теми же, какими их выявили массовые опросы первой половины 1990-х годов. При этом она почему-то не упоминает фактора "отсутствие социальных перспектив, в том числе для детей", занявшего у русских и киргизских экспертов второе – после экономических и собственно социальных мотивов – место. Видимо, она и его причисляет к факторам чисто социальным. Между тем с точки зрения экспертов отсутствие социальных перспектив для местных русских и их детей связано именно с их национальной принадлежностью, что ясно из формулировок ответов на открытый вопрос (большая часть вопросов анкеты для экспертов была открытой), которые я при обработке итогов объединил в рубрику "отсутствие социальных перспектив". Таким образом, результаты экспертного опроса 1999 г. действительно позволяли мне сказать, что эксперты видели мотивы миграции русского населения "примерно такими же", как они выглядели по результатам массовых опросов первой половины 1990-х годов (*Савоскул* 2001: 398).

И еще одна реплика. Отмечая большую, с ее точки зрения, реалистичность моих оценок состояния динамики межэтнических отношений в Центральной Азии на одной из страниц моей книги, по сравнению с теми, которые она перед этим критиковала, Космарская не замечает, что первые выводы относятся уже не к потенциальным мигрантам, как в критикуемых ею случаях, а к местным русским в целом (*Космарская* 2006: 101). Понятно, что среди потенциальных мигрантов (которые, к слову, составляют отнюдь не большинство местных русских) оценки межэтнических отношений в стране выхода всегда более негативны, чем среди всего населения. Именно с этим обстоятельством и связаны мои "более реалистические выводы".

Категорически не могу согласиться с тезисом Космарской о том, что "черт разгулявшейся демократии" в этнически поляризованном кыргызстанском обществе начала 1990-х годов оказался не таким уж и страшным, "а в итоге – даже неплохим парнем", а полемика в прессе на этнические темы была полезной, поскольку выпустила "социальный пар" (Там же: 158–159). Насколько я себе представляю ситуацию, полемикой в прессе межэтническая напряженность здесь не ограничилась, тем более, что эта полемика, к счастью, вряд ли и дошла до широких масс титульного и русского населения. Выпусканьем же "социального пара" в известной мере были и трагические ошские события, да и недавние погромы в Бишкеке. И если бы власть окончательно утерjala контроль над ситуацией, то этот "неплохой парень" мог бы еще наделать немало дел. Можно полагать, что настоячивые шаги акаевского режима в создании политических предпосылок для более благоприятных, чем в других странах региона, условий жизни местного русскоязычного населения предпринимались, исходя и из негативного опыта первых лет суверенизации. Именно в этом я и вижу значимость "фактора Акаева", а не в том, необоснованно приписываемом мне мнению, что лишь благодаря Акаеву, в Киргизии осталось еще русскоязычное население (Там же: 159). Поэтому я не вижу диссонанса (как мой оппонент – *Космарская* 2006: 165) между моим мнением о том, что в начале 1990-х годов акаевский режим не смог справиться с киргизским радикально-националистическим движением (*Савоскул* 2001: 396), а к концу столетия, в значительной мере благодаря этому же режиму, в стране произошли заметные позитивные сдвиги в межэтнических отношениях (Там же: 382–383). И это нисколько не противоречит взаимной низовой адаптации к новым политическим и социально-экономическим условиям и друг к другу представителей всех национальностей страны, в которой Н.П. Космарская видит главную причину улучшения положения русскоязычного населения.

Несправедлив, на мой взгляд, и упрек в некорректном использовании мною данных опроса в Киргизии без скидок на то, что за прошедшее время ситуация там радикально изменилась, а уж тем более в тиражировании моих "неверных выводов" в прессе (*Космарская* 2006: 279), о чем я, пока не прочел ее книгу, и не подозревал. Речь в данном случае идет о моей статье 1997 г., где я писал, что по сравнению с другими обследованными странами – Молдавией, Литвой, Эстонией и Украиной – в Киргизии и Казахстане отмечался гораздо больший настрой русских на миграцию из страны и заметно меньшими были прогнозы на адаптацию тамошнего русского населения. При этом мой оппонент справедливо замечает, что опрос в первых четырех странах проводился позже, чем в Киргизии, но почему-то умалчивает, что не позже (за исключением Украины), чем в Казахстане. Мой вывод, по крайней мере, на тот период, когда писалась статья, подтверждается и тем фактом, что среди стран центральноазиатского региона именно в Киргизии к середине 1990-х годов доля русского населения в результате миграционного обмена с Россией сократилась в наибольшей мере, если не считать пережившего гражданскую войну Таджикистана (*Савоскул* 1997: 22). Это подтвердила и проведенная в 1999 г. перепись населения Киргизии, согласно которой численность русских за 10 лет, прошедших со времени последней советской переписи, сократилась в стране на 34% (КЦ: 214), что связано, конечно же, прежде всего, с выездом русского населения.

* * *

Завершая, наконец, и без того уж слишком затянувшийся отклик, хочу выразить благодарность инициаторам дискуссии, в первую очередь Н.П. Космарской, за поднятые ею проблемы и за ее книгу, несомненно, внесшую заметный вклад в обсуждаемые нами вопросы. Надеюсь, что тема эта будет и в дальнейшем служить источником живого интереса как российских, так и зарубежных исследователей.